

УДК 821.161.1 + 82-94

Ю.В. Балакишина

«ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СКРОМНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА»: ЧЕХОВСКИЕ ОБРАЗЫ В "ДНЕВНИКАХ" ПРОТ. АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

В статье анализируется, какое место занимают образы из произведений А.П. Чехова в «Дневниках» известного литургиста и богослова конца XX в. прот. Александра Шмемана. Автор «Дневников» особо выделяет двух героев Чехова: преосвященного Петра («Архиерей» (1902)) и Якова («Убийство» (1895)), которые становятся для него символами двух типов христианства. Рассказ «Архиерей» рассматривается с точки зрения намеченных в нем этических и эстетических путей преодоления суевы обыденности.

А.П. Чехов, прот. Александр Шмеман, дневники, христианство.

The paper analyses the place that the images of A. Chekhov's works occupy in the «Diaries» of the famous liturgician and theologian of the XXth century, protopresbyter Alexander Schmemmann. The author of «Diaries» particularly highlights two of Chekhov's characters: eminent Pyotr («Hierarch» (1904)) and Yakov («Murder» (1895)), who become his symbols of two types of Christianity. The story «Hierarch» is analyzed from the perspective ethical and aesthetic ways of overcoming the tedium of the mundane.

Anton Chekhov, protopresbyter Alexander Schmemmann, diaries, Christianity.

Выпущенные в свет издательством «Русский путь» в 2005 г. «Дневники» известного православного литургиста и богослова прот. Александра Шмемана представляют несомненный интерес не только для теологов и религиоведов, но и для историков литературы. Текст, созданный человеком интеллектуально, духовно и литературно одаренным, представляет собой, с одной стороны, оригинальную разновидность жанра дневника [1], [2], с другой – сложное пространство культурной рецепции, в котором отражаются и выявляют новые смыслы многие произведения русской и мировой литературы [3], [5], [6].

Любимым писателем прот. Александра Шмемана был А.П. Чехов. Отец Александр неоднократно и, по его словам, «с огромным наслаждением» [9, с. 49] перечитывал чеховские рассказы, посвящал творчеству русского писателя лекции и беседы, делал выписки из писем Чехова и оценивал многие жизненные ситуации сквозь призму чеховских образов. На страницах «Дневников» Шмеман размышляет о Чехове не только как о творце самобытного художественного мира, но и как о человеке, с которым возможны близкие личные отношения: «Я всегда любил и все больше люблю человека Чехова, а не только писателя» [9, с. 336]; «Кончил письма Чехова и потом просмотрел книгу Зайцева о нем. Просматривал же ее потому, что просто не хотелось расставаться с Чеховым: как с близким человеком...» [9, с. 337]. Шмеман доверял Чехову как правдивому свидетелю эпохи и выписывал в дневник размышления писателя о религиозном возрождении России, об интеллигенции, об иконе и т.д. [9, с. 336 – 337].

В человеческом облике Чехова отцу Александру импонировали качества «выдержки, сдержанности и вместе с тем глубокой, тайной доброты» [9, с. 336]. Личность Чехова, существующая для Шмемана в единстве с созданными им художественными образами, дает возможность священнику и богослову поразмышлять в дневнике о природе доброты и ее отличии от добродетельности: «Добрый человек. Добродетельный человек. Между ними – огромная разница. Добрый человек тем и добр, что он "принимает" людей какими они есть, "покрывает" своей добротой. Доброта – прекрасна, самое прекрасное на земле. Добродетельные люди – активисты, одержимые стремлением навязывать людям принципы и "добро" и так легко осуждающие, громящие, ненавидящие. Тургенев, Чехов – добрые люди, Толстой – добродетельный человек. В мире – много добродетели и так мало добра» [9, с. 462].

Вводя оппозицию «добрый – добродетельный», Шмеман встраивает ее с целый ряд других смысловых пар, среди которых: «пассивный – активный», «принимающий – деятельный», «смиранный – гордый». Полуса оппозиции находят образное воплощение в героях двух чеховских рассказов, особенно часто упоминаемых в «Дневниках»: преосвященном Петре («Архиерей» (1902)) и Якове («Убийство» (1895)). Архиерей Петр, с его внешне несостоявшейся, несвободной жизнью, ранней смертью, исчезающей памятью о нем, с точки зрения Шмемана, парадоксально воплощает «необъяснимую, таинственную победу», «красоту поражения, освобождения от успеха» [9, с. 220], в которых заключается «тайна христианства». Яков, в своем насаждении религиозной

«правды» доходящий до убийства, становится для Шмемана апофеозом псевдохристианской «церковности», религиозной гордыни: «Вместо того, чтобы хотя бы знать, что есть радость, свет, смысл, вечность, он становится раздражительным, узким, непереносимым и очень часто просто злым и уже даже не раскаивается в этом, ибо все это от "церковности". Яков в "Убийстве" Чехова – как все это верно и страшно. "Благочестивому" человеку внушили, что Бог там, где "религия", и потому все, что не "религия", он начинает отбрасывать с презрением и самодовольством, не понимая, что смысл религии только в том, чтобы "все это" наполнить светом, "отнести" к Богу, сделать общением с Богом» [9, с. 76 – 77].

Именно образы чеховских героев задают своего рода этические и духовные полюса в дневниках прот. Александра Шмемана. На одном полюсе оказываются «онтологическая скромность христианства, красота Божьего смирения» [9, с. 539], божественная «ненужность» силы, славы, правоты, прав, самоутверждения, авторитета, власти, всего того, что нужно только там, где нет истины, и что, поэтому, не нужно Богу» [9, с. 129]. Отсюда особое внимание Шмемана к явлению Христа не в силе и славе, а в детскости Рождества или бессилии Креста: «Тогда как смысл христианства в том, чтобы быть правым и уступить и в этом дать засиять победе: Христос на кресте – и "воистину Человек сей сын Божий..."» [9, с. 129]. Противоположный духовный полюс – гордыня, самоутверждение, прячущиеся под маской почитания Бога и в «Боге» находящие себе оправдание: «Вера в Бога и в Христа – с одной стороны, "в религию" – с другой: совершенно разные опыты» [9, с. 227]. Чехов для Шмемана оказывается провозвестником этой особой «религиозности», сосредоточенной на форме – «обряде, типиконе, священности во всех ее проявлениях» [9, с. 227], стремящейся утвердить себя через это внешнее богатство церковной традиции, агрессивно активной и, по сути своей, противоположной христианской вере: «Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но до сих пор [всегда было так]: как только появляется эта "духовность", моментально возникают "проблемы", и возникают потому, что "духовность" эта в наши дни есть еще одно выражение, форма того патологического "оборота на себя", которым буквально больна современная молодежь, да и не только молодежь... Почему это понимал неверующий Чехов ("Убийство") и не понимают наши новоиспеченные "старцы"?» [9, с. 579].

«Архиерей», особенно любимый Шмеманом рассказ Чехова, дает повод к одному из самых существенных «внутренних диалогов», разворачивающихся на страницах «Дневников». Отец Александр переживает свою особую близость к чеховскому герою: «В эти дни хочется полной безбытности или хотя бы облегчения груза жизни, а вот это-то и невозможно. Понимаю нутром чеховского архиерея, ставшего в предсмертном сне опять Павлушей, свободным ребенком» [9, с. 428]; «И опять-таки все это очень хорошо показано в чеховском "Архиерее". Радость Церкви и тяжесть, и уныние, и бессмыслица архи-

рейской "деятельности"» [9, с. 579]. Конфликт между «внешней данностью человека и его личностью» [8, с. 86], положенный, по мнению В.И. Тюпы, Чеховым в основу сюжета рассказа «Архиерей», Шмеман знал по своему личному опыту. Будучи протопресвитером, членом Синода, деканом семинарии, он остро переживал свою обусловленность социальным и иерархическим положением и прилагал немало усилий, чтобы не дать своей внешней роли потеснить внутреннее содержание.

В дневниках постоянно сменяют друг друга две темы: обретение себя через богослужение, ведение дневника, встречу с природой, культурой и утрата себя в ежедневной суете семинарской жизни, множестве дел, заседаний, встреч, подчас кажущихся бессмысленными: «Вчера – весь день в "делах": собраниях, разговорах, заседаниях, телефонах. "Департамент внешних сношений", "Малый Синод". Сплошной *va et vient* в моем кабинете в семинарии. Я возвращаюсь домой совершенно больной от всего этого, буквально измученный. Что-то есть духовно смертоносное в этой суете и – главное – в этих безостановочно предъявляемых мне требованиях» [9, с. 63]; «Мелочи церковной, мелочи архиерейской, мелочи семинарской жизни, сколько их... Пришел сегодня с лекции и два часа в этих мелочах, телефонах, суете. А когда на минуту выкарабкиваешься из них, нужно писать скрипты. Где тут – "прилежати о души ваши безсмертней..."?» [9, с. 292].

Безусловно, Чехов не первый в литературе заговорил о проблеме утраты человеком целостности, расслоении личности на внешнее и внутреннее «я». Так, В.В. Библихин писал, что уже Кьеркегор и Гоголь поставили человеку этот диагноз: «Они видели, что человек как таковой расслоился, распался, не держится. Обычный индивид открывался им в своей катастрофической неподлинности; оба были смущены, если не сказать шокированы, обожжены явной провальностью поведения множеств, не замечающих этого расползания» [4, с. 266 – 267].

Однако Шмеману близка именно чеховская постановка проблемы отнюдь не только по тому, что ему хорошо знаком образ жизни героя рассказа «Архиерей» и та специфическая формой овнешнения и отчуждения личности, которая возникает у людей, находящихся внутри церковной иерархии. В «Архиерее» и других чеховских рассказах отец Александр узнает тот масштаб жизненного пространства, в котором приходится жить ему самому, который типичен для благоустроенной американской жизни и, в конечном итоге, для всего современного мира, лишенного измерения трагического, великого, главного. В прямой связи с цитатой из письма Чехова к А.С. Суворину Шмеман пишет: «Из мира уходит, "выветривается" великое, трагическое в главном и основном смысле этого слова. Так, *de facto*, бесшумно, при полном равнодушии исчез, растворился "ад", возможность гибели, а вместе с ним и спасение. Вошедшее в мир как "благовестие", как неслышанная весть о Царстве Божием, христианство постепенно превратилось в "духовное обслуживание", в – надо

признаться – малоудачную терапию» [9, с. 336].

Именно отсутствие в жизни человека великого и главного, события как акта свершающегося бытия, как такого «озарения», благодаря которому человек встречается с самим собой и миром, приводит к его обмельчанию, расслоению, потере себя. Как писал В.В. Библихин: «Свет события являет истину вещей, их не частный, а первый и потому последний смысл. Приоткрываемая событием правда вещей дарит, отпускает человека из тесноты частных устроений на свободу белого света, таинственного простора мира» [4, с. 70].

Чеховский герой живет жизнью, лишенной таких событий, хотя и тоскует по ним. Ненормальная «нормальная жизнь», целиком состоящая из мелочей и дрязг, погруженная в «обыденность» – основной фон чеховских рассказов и пьес. Обобщая высказывания чеховедов о принципиальной не-событийности художественного мира Чехова, А.Д. Степанов писал: «Уменьшается абсолютный масштаб событий (изображение мелких «бываний» частной жизни) и их относительный масштаб (представлен один эпизод из жизни героя или ряд конкретных эпизодов, часто самых обычных), события оказываются «затушеваны» бытовыми не-событиями, безрезультатны, событие носит ментальный характер, оно индивидуально, не поддается обобщению, и даже сама его событийность часто представляется проблематичной» [7, с. 19].

Жизнь прот. Александра Шмемана, безусловно, событийна и в бытовом и в бытийном смысле: он много ездит по разным странам, встречается с незаурядными людьми и различными культурами, открывает для себя «таинственный простор мира» через природу, поэзию, приобщается к реальности Небесного Царства в евхаристии. Однако большая часть его жизни, связанная с рутиной повседневных дел и забот по семинарии, представляется ему как раз таким бессобытийным, пустым, убивающим душу «чеховским» пространством, от которого хочется и невозможно освободиться.

Далеко неслучайно отец Александр демонстрирует в дневниках большую читательскую чуткость к художественным приемам Чехова, призванным передать это измельчание жизни. Так, 21 апреля 1976 г., в Великую Среду, Шмеман записывает в дневнике: «Перечитывал вчера эту тетрадку. С ужасом вижу, что за целые месяцы – никакой продукции! Жизнь проходит между пальцев, съедается суетой...» [9, с. 272], – и тут же приводит цитату из рассказа Чехова «Свистуны»: «Чехов: "За обедом два брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целостности, бранили себя и искали смысла в слове "интеллигент" («Свистуны», III, 217)» [9, с. 272]. Спустя год, 7 марта 1977 г., отец Александр делает запись после лекции, прочитанной на одном из американских приходов, используя цитату из рассказа «Архиерей»: «Лекция – о причастии, о приходе и Евхаристии – кучке русских людей, которых старается хоть как-нибудь "пронять" о. Леонид Кишковский. Слушают, благодарят, но насчет "пронима-

ния"... "А потом что? А потом пили чай..." (старуха мать в чеховском "Архиерее")» [9, с. 342]. Шмеман выбирает весьма характерные для Чехова фразы, передающие бытовые микрособытия («за обедом», «пили чай»), тянущиеся во времени, повторяющиеся, составляющие существо жизни, лишь внешне прикрытое «важными» разговорами.

Наконец, еще один немаловажный фактор, составляющий Шмемана доверять именно чеховскому подходу к проблеме человека, – особый милующий взгляд писателя. Неслучайно в «Дневниках» прот. Александр неоднократно приводит фразу из рассказа Чехова «Письмо»: «Наказующие и без тебя найдутся, а ты бы... милующих поискал!» [9, с. 89, с. 225]. У Чехова, по мнению Шмемана, нет иллюзий по поводу современного ему человека, он видит его измельчание, распадение, опустошение, но, тем не менее, не теряет веры в него, в неистребимость в нем человеческой экзистенции: «Не устареет, например, Чехов, то есть те "маленькие люди" под осенним дождиком, которых он описывал. Потому что они – вечны, не как "маленькие", а как люди...» [9, с. 601]. В другом месте дневника, сравнивая Чехова с Войновичем, отец Александр писал о героях обоих авторов: «Та же маленькая жизнь, глупость, страх, но и – доброта» [9, с. 456].

Таким образом, рассказ Чехова «Архиерей» становится для Шмемана, с одной стороны, воплощением красоты христианства, претворяющего в победу унижение и поражение, с другой – напоминанием о его личной постоянной и мучительной жажде стать «свободным ребенком», убежать от мертвящей, суетной жизни и, одновременно, внутренним укором за этот «соблазн»: «Но, конечно, соблазн этот не христианский – ибо настоящее христианство состояло бы в "одухотворении" груза, а не в раздраженном желании бегства от него...» [9, с. 428].

Можно сказать, что вопрос, который личность и творчество Чехова ставят перед прот. Александром Шмеманом, – это вопрос о призвании и служении, о невозможности и одновременно необходимости разгадать смысл собственной жизни сквозь ее быденное течение, сквозь внешнюю суету, бесконечные мелочи и дрязги: «И вот, идя вчера к вечерне, я думал: а чего же я хочу? В чем же *моя*-то жизнь? Если все это суетливо и ненужно, то что же – сидеть дома в комфорте, с деньгами, пописывать и смотреть телевидение? А ведь я уже на пути к этому. Возвращаешься из семинарии "оглушенный" делишками, телефонами, вечными проблемами – и вот, как мертвое тело, сидишь и смотришь какую-нибудь Carol Burnett... Надо было бы спросить себя]: чего хочет от меня Христос? И делаю ли я хотя бы отчасти то, чего Он хочет? "Qui vous a dit que l'homme avait quelque chose a faire sur cette terre?" – кроме того, что сохранить "образ вечности, зароненный каждому"?» [9, с. 317].

Чеховский мир, чеховские герои позволяют Шмеману выявить подмены, происходящие в его жизни: его внутреннее согласие на комфортную, уютную, бессобытийную, в чеховском смысле,

жизнь («слабость, лень, распушенность (во мне) и потому сознание, что не мне говорить... Что-то "чеховское"» [9, с. 424]); и как следствие, овнешнение, окостенение сокровенного внутреннего опыта, объективация духовной реальности: «Я стал священником в двадцать пять лет, потому что мне было очевидно (без всякого раздумья и углубления и проверки), что ничего интереснее на свете нету. Я об этом мечтал, именно *мечтал* на парте лица, на танцуйках, почти всегда это было для меня "инобытием", тайным сокровищем сердца. А теперь я чувствую себя – и как часто! – как тот чеховский герой, который во имя какого-то "высокого дела" (революции, борьбы за свободу) поступил в лакеи, чтобы за кем-то следить, что-то узнавать, одним словом – *служить*, и вот постепенно не то что разочаровался в этом "служении", а как-то выпал из него. Ощутил его как ненужное, как *не то*. Его потянуло на простую жизнь, на *просто* жизнь. И вот у меня такое чувство, что я живу в безостановочной "риторике", в искусственности... Что всем этим прикрывается, в сущности, все та же мелочность, самолюбие и т.д. и где все это тем более сильно, что все время выдается как раз за служение... Иногда такое чувство, что тот детский и "мечтательный" опыт *инобытия*, который привел меня к *служению*, теперь этим самым служением больше всего и затемняется» [9, с. 515].

Однако Чехов же помогает отцу Александру найти ответы на самый мучительный вопрос его и «всякой» жизни: «...Как с достоверностью разобраться, что в ней – от Бога, как послушание Ему ("чего хочет от меня Бог...") и что – от "мира сего" (и того, кто за ним). Вопрос о *призвании*. Моя жизнь сложилась как жизнь "церковного деятеля". Но именно этой жизнью я всегда бесконечно тяготился и с каждым годом тягочусь все больше. От слабости это или же от того, что подлинное "призвание" мое в другом? Только в постоянном присутствии во мне этого вопроса – *мое мучение*. Я живу действительно *двойной жизнью*, причем одна как бы все время съедает другую. Так вот – хочет ли этого Бог? В этом ли "условия" моего спасения? Всякий раз, что я ставлю себе этот вопрос, – ответ *не приходит*. И это на 55-м году жизни!» [9, с. 263].

Один из возможных ответов – с терпением переносить суету и ценить малые и простые реальности жизни, в которых еще сохраняется отблеск подлинного бытия: «Понятными, правдивыми остаются только слова Ходасевича: "Зато слова – ребенок, зверь, цветок..."» [9, с. 539]; «Переписка Blondel-Bremond вперемежку с Чеховым, перечитываемым в который раз! Помимо самого содержания интерес этих книг, их "функция" в том, что они "вставляют в перспективу" суету, в которой живешь, "проблемы"... Как тогда тогдашняя суета казалась важной и как полностью забыта! И остаются только люди, единственный и неповторимый образ каждого. То, что в этой переписке было главным, – неинтересно, то, что тогда было "житейскими мелочами", – приобретает новое значение как кусок живой жизни. И

то же самое, по-видимому, притягивает меня к Чехову» [9, с. 149].

Второй путь, более близкий к сердцевине христианской веры, как ее понимает прот. Александр Шмеман, – не бегство от мира, а мужественное схождение в ад этой раздробленной суетной человеческой жизни, в которой «события» вытесняются «дейтельностью», в надежде на то, что опустошенность, растраченность жизни может оказаться ее главной христианской победой. Неслучайно, по мнению отца Александра, именно Чехов «из всех наших "великих" <...> ближе всех к христианству по своей трезвости, отсутствию дешевой "душевности", которой у нас столько углов "сглажено"» [9, с. 336]. Поэтому и в личности Чехова Шмемана особо привлекают черты, помогающие выдержать эту растянутую во времени битву со злом повседневности, выигрывает которую тот, кто обладает терпением, выдержкой.

Наконец, еще один путь, подсказанный Шмеману Чеховым, – путь эстетического преодоления и преобразования суеты и пошлости мира сего. Читая лекцию о чеховском «Архиерее», отец Александр переживает состояние, подобное катарсису – «какое-то внутреннее освобождение и очищение» [9, с. 220]. Он отмечает «поражительную музыку» чеховского рассказа: «Эти темы – матери и детства, Страстной – на фоне оо. Сысоев и Демьянов Змеевадцев, все это такое высокое, такое чистое искусство, и в нем больше о какой-то внутренней сущности христианства и Православия, чем в богословских триумфалистических определениях» [9, с. 220].

Причиной освобождения оказывается не содержание, ни «главная мысль» рассказа, а его стиль, сама художественная ткань чеховского повествования. «Архиерей» принадлежит к числу рассказов Чехова, созданных «в тоне и в духе» главного героя. Следовательно, его стиль во многом определяется тем, что мир увиден глазами именно преосвященного Петра, пропущен сквозь призму его драматического, но одновременно и гармонизирующего мировосприятия. Отсюда резкое изменение стилистической манеры в конце рассказа, когда носитель «субъектной призмы», сквозь которую велось повествование, умирает. Для Шмемана таким эстетическим преобразованием нецелостной жизни становится его дневник, позволявший ему в высших своих проявлениях нелогическим, недискурсивным, а именно художественным методом схватывать смыслы бытия. Эстетическое же преобразование жизни давало отцу Александру надежду на возможность для нее преобразования и более высокого порядка.

Литература

1. Балакишина, Ю.В. Дневники прот. Александра Шмемана: к истории жанра / Ю.В. Балакишина // Филологические науки. – 2011. – № 4. – С. 3 – 13.
2. Балакишина, Ю.В. «Пишу только, чтобы „прийти в себя от суеты...»: поэтика «Дневников» протоиерея Александра Шмемана / Ю.В. Балакишина // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2011. – Т. 4. № 33-1. – С. 47 – 52.

3. Бачинин, В. Александр Шмеман и его «исследовательская лаборатория» по теологии литературы / В. Бачинин // Вопросы литературы. – 2012. – № 1. – С. 9 – 27.

4. Биbihин, В.В. Слово и событие. Писатель и литература / В.В. Биbihин. – М., 2010.

5. Воронин, Т.Л. Культура и поэзия в «дневниках» о. Александра Шмемана / Т.Л. Воронин // Вестник ПСТГУ. III Филология. – 2008. – Вып. 2 (12). – С. 86 – 92.

6. Проскурина, Е.Н. Слагаемые авторского сознания в дневниках протоиерея Александра Шмемана / Е.Н. Про-

скурина // Критика и семиотика. Вып. 13. – Новосибирск, 2009. – С. 69 – 85.

7. Степанов, А.Д. Проблема коммуникации у Чехова / А.Д. Степанов. – М., 2005.

8. Тюпа, В.И. Художественность чеховского рассказа / В.И. Тюпа. – М., 1989.

9. Шмеман Александр, прот. Дневники. 1973 – 1983 / прот. Александр Шмеман. – М., 2005.

УДК 81.42

Е.В. Грудева

**КОДОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТЫНЬ
В РУССКИХ ТЕКСТАХ РАЗНОГО ТИПА
(на материале Национального корпуса русского языка)**

*Работа выполнена в рамках государственного задания в сфере научной деятельности
по теме: «Компьютерные технологии в структурно-функциональном изучении текста»*

*Публикация выполнена в рамках III Международной научной конференции
«Взаимодействие языков и культур» 24 – 27 апреля 2014 г.*

В статье поставлен вопрос о том, что включение в русский текст оригинальных латинских слов и выражений можно рассматривать как кодовые переключения, где матричным языком является русский, а гостевым – латынь. На материале Национального корпуса русского языка собраны данные об употреблении 15 латинских выражений, встретившихся в русских текстах разного типа всего 1345 раз. Показано, что способы переключения на латынь в русских текстах довольно разнообразны: имеет место как внешнее, так и внутреннее переключение кодов.

Кодовые переключения, латынь, корпус русского языка, языковая игра.

The article deals with the problem of the inclusion of the original Latin words and phrases in Russian texts that can be considered as code-switching, where the Russian language appears to be the matrix language while Latin is the guest one. The author collected the data on the use of 15 Latin phrases encountered 1345 times in Russian texts of different types on the material of the Russian National Corpus. The article shows that the methods of switching into Latin in Russian texts are quite diverse: there are both external and internal code-switching.

Code-switching, Latin, the Russian National Corpus, language game.

Проблема изучения кодовых переключений (code-switching) была поставлена в середине 1970-х гг. в англоязычной лингвистической литературе, однако само явление было зафиксировано еще раньше Р.О. Якобсоном, который писал: «Любой общий код – это совокупность, составленная из иерархии различных подкодов, один из которых выбирает говорящий в соответствии с функцией сообщения, его адресатом и характером отношений между собеседниками» [8, с. 411].

Проблема изучения кодовых переключений сегодня продолжает оставаться актуальной в связи с процессами глобализации, с увеличением миграционных потоков, с ростом билингвизма. Как правило, в зарубежных исследованиях основным источником фактического материала является устная спонтанная речь [9]. В отечественной лингвистике были предприняты попытки изучения кодовых переключений и в письменных текстах (см., например, диссертацион-

ное исследование М.Г. Исаевой, выполненное на материале русскоязычных журналов [4]; диссертационное исследование И.Ю. Мишинцевой, связанное с изучением текстов художественной литературы, прежде всего персонажной речи, в частности, речи Эркюля Пуаро – главного героя произведений Агаты Кристи [5]).

Методологически сбор фактического материала при изучении кодовых переключений обычно достаточно трудоемок: если изучаются переключения в устной спонтанной речи, то используются главным образом два метода сбора информации – интервью и запись спонтанной речи (преимущественно в неформальной обстановке). При изучении кодовых переключений в письменных текстах необходимый корпус языкового материала обычно формируется методом сплошной выборки из выбранных источников.

Источником языкового материала, связанного с кодовыми переключениями на латынь в русских тек-